

ТАЙНА ВАЦУРО

В творческой судьбе Вадима Эразмовича Вацуро (30 ноября 1935 — 31 января 2000) безусловно есть тайна.

Уже в 70-е годы Вацуро обладал высочайшим авторитетом в профессиональной среде. Символическими вехами тут можно считать созданные в соавторстве с М. И. Гиллельсоном работы «Новонайденный автограф Пушкина: Заметки на рукописи книги П. А. Вяземского “Биографические и литературные записки о Денисе Ивановиче Фонвизине” (1968) и «Сквозь “умственные плотины”»: Из истории книги и прессы пушкинской поры» (1972), однако в реальности неповторимый авторский метод Вацуро сложился еще раньше. Каждая новая его работа, начиная с лермонтовских штудий и комментариев к изданиям Хемницера (1963) и Некрасова (1967) в Большой серии «Библиотеки поэта», была *новостью* в самом прямом и точном смысле слова, то есть меняла представления читателя (включая самых квалифицированных специалистов) об обсуждаемом предмете. Понятно, что свойством этим обладали работы, строящиеся на раритетном (архивном) материале, вводящие в оборот неизвестные прежде источники и факты. Например, статья «К изучению “Литературной газеты” Дельвига — Сомова» (1968), где очень осторожно, но от того особенно доказательно Пушкину атрибутировалась рецензия на роман Василия Ушакова «Киргиз-кайсаk», или «Из истории литературных полемик 1820-х годов» (1972), где одной из ключевых фигур старинных литературских битв предстал основательно забытый Александр Крылов, или «Г. П. Каменев и готическая литература» (1975) — список легко продолжить. Но тот же эффект возникал при знакомстве со статьями, трактующими сюжеты «понятные», казалось бы, давно изученные и не предполагающие каких-либо вопросов и удивлений. Здесь показательны статьи «Ранняя лирика Лермонтова и поэтическая традиция 20-х годов» (1964), «Пушкин и проблема бытописания в начале 1830-х годов» (1969), монографический анализ послания «К вельможе» (1974) и совершенно ошеломительная даже для привычных к смелым и точным построениям В. Э. статья «“Великий меланхолик” в “Путешествии из Москвы в Петербург”» (1977). Книга об истории альманаха «Северные цветы» (1978) стала, по сути дела, сверхплотным конспектом истории русской литературы 1824–31 гг., требующей от читателя непривычной сосредоточенности буквально на каждом слове: предельная ясность слога невольно вводила в заблуждение — сама собой вспоминалась гоголевская характеристика прозы Пушкина («бездна пространства»).

Казалось, что совершеннее и глубже писать о словесности просто невозможно, а меж тем впереди были встречи читательской аудитории и учебного цеха с такими шедеврами, как «Последняя повесть Лермонтова» (1979), «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» (1981), томá стихотворений Дениса Давыдова (1984) и Дельвига (1987), «И. И. Дмитриев в литературных полемиках начала XIX века» (1989), «Поэтический манифест Пушкина» (1991), «В преддверии пушкинской эпохи» (1994; предисловие к двухтомнику «Арзамас» под общей редакций Вацура и А. Л. Осповата; издание это из-за общеизвестных тягот начала 90-х годов вышло в свет с большим опозданием), наконец, монография «Лирика пушкинской поры: "Элегическая школа"» (1994). Исчислено далеко не все даже из «капитальных» работ, а ведь должно вспомнить еще о многом. О словарных статьях (прежде всего, в «Лермонтовской энциклопедии» и четырех томах «Русских писателей»). О «заметках филолога», ритмично появлявшихся в журнале «Русская речь». (Они стали ядром книги, вышедшей в 1994 году под характерным «вацуровским» названием — «Записки комментатора».) О подвижнической текстологической и редакторской работе над новым академическим изданием Пушкина («пробная» версия первого тома появилась в 1994 году, окончательная — в 1999). О рецензиях, в которых В. Э., точно выявляя неповторимые творческие индивидуальности коллег и фиксируя внимание на своеобразности их исследовательских решений, всегда тактично, но твердо обнаруживал свою — корректирующую — позицию. Особенно важны отклики на исследование А. Г. Тартаковского «1812 год и русская мемуаристика» (1981), книгу Л. Я. Гинзбург «О старом и новом» (1983), монографии Ю. М. Лотмана о Пушкине (1982) и Карамзине (1989); здесь же должно упомянуть о некрологах, которыми В. Э. почтил своих наставников: академика М. П. Алексеева и Н. В. Измайлова, и о предисловии к посмертному изданию пушкинских статей Н. Я. Эйдельмана (2000) — работа, посвященная трудам близкого друга и, выражаясь старинным слогом, «сочувственника», стала публичной собственностью уже после кончины В. Э. В теории все знают, что деление работ настоящего ученого на «собственно научные», «прикладные», «популярные» и «справочные» носит условный характер — на практике зачастую дело обстоит иначе. Даже истинные мастера подчас, обращаясь к популярным жанрам, облегчают свою задачу, предлагая упрощенные вариации прежде разработанных и обнародованных тем. Не обладая столь мощным и очевидным просветительским темпераментом, что был присущ, например, Н. Я. Эйдельману или Ю. М. Лотману, тонко чувствуя аудиторию и учитывая специфику избранного жанра (что сказывалось на слоге и организации справочного аппарата), В. Э. использовал любую возможность, дабы выговорить прежде несказанное, актуализовать важный смысловой нюанс, аккуратно сместить привычные акценты. В этом смысле для него не было различий меж предисловием к массовому изданию, эссе, написанным по просьбе редакции журнала к очередному юбилею (так, автор этих строк буквально выклянчивал в 1987 году у В. Э. для «Литературного обозрения» «хоть что-нибудь» — в итоге появил-

ся «Опыт прямодушия», выросший из тщательного прочтения пушкинского письма к Плетневу, блистательный этюд о совсем непростых отношениях первого поэта и его скромного «оруженосца») и «плановой» работой для замусоренного словоблудием типового сборника ученых трудов, выходящего под академической эгидой. Одним словом, редакция «Нового литературного обозрения» имела все основания предварить выпущенный к шестидесятилетию В. Э. Festschrift «Новые безделки» точно сформулированным тезисом: «Вадим Эразмович Вацуро многие годы олицетворяет этос филологической науки». В этом сомнений не было и нет.

Есть нечто иное. Едва ощутимое при жизни великого историка литературы и «уплотнившееся» после его безвременного ухода. Задуманная в молодости и писавшаяся всю жизнь книга о судьбе готического романа на русской почве так и осталась незавершенной. Разумеется, многочисленные статьи (начиная с опубликованного в 1969 году под искореженным названием, в котором не нашлось места взрывоопасному «клерикально-мистическому» термину, исследования «Литературно-философская проблематика повести Карамзина “Остров Борнгольм”») и любовно собранный, выстроенный и выверенный вдовой исследователя Тамарой Федоровной Селезневой том «Готический роман в России» (2002) содержат бесценную информацию и одаривают великим множеством пронизательных наблюдений, открывающих головокружительные научные перспективы. (Кстати, отнюдь не только для филологов, но и для историков идеологии, культурологов, искусствоведов.) Но все же совокупность «готических» текстов (и набросков, планов, отголосков темы в работах о совсем иных предметах) Вацуро — это «материалы», а не монография. Мы ощущаем величие замысла, пленяемся выразительными деталями (заметим, однако, что для В. Э. отдельный новый факт или частная концепция никогда не были самодостаточными ценностями!), в лучшем случае угадываем потенциальные сопряжения сюжетов и контуры общей организующей мысли, но не можем дотянуть целого, судя по всему — очевидного для Вацуро.

Сходно обстоит дело и в другой области интересов В. Э. Он знал, что делал, вынося на обложку монографии об элегической школе слова «Лирика пушкинской поры». Книга эта, с исключительной точностью рисующая движение «центрального» лирического жанра начала XIX века, высвечивающая его трудный генезис, расширение семантических и стилистических горизонтов, способность служить полем столкновения различных духовных, идеологических и эмоциональных комплексов (страницы, посвященные «диалогам» Андрея Тургенева и Карамзина, Тургенева и Жуковского, Жуковского и Батюшкова, относятся, безусловно, к высшим достижениям русской филологии), книга эта мыслилась (и писалась, на что есть прямые указания в тексте) как преамбула, введение в главный — пушкинский и пушкиноцентричный — сюжет. Здесь та же история, что с «готикой». Читая предисловия к томам Дельвига и Дениса Давыдова (чья эволюция не остановилась на элегическом цикле, рассмотренном в «Лирике пушкинской поры»), главы о поэзии пушкинского круга, Баратынском, поэзии 1830-х

годов во втором томе «пушкинодомской» «Истории русской литературы» (1981), очерки истории отдельных поэтических жанров (элегии, идиллии, стиховой драмы), словарные и не словарные статьи о конкретных поэтах, мы в какой-то мере угадываем единую большую концепцию (ее то ли проект, то ли дайджест был написан В. Э. по просьбе американских коллег на рубеже 1997–98 гг. и недавно опубликован в № 59 «Нового литературного обозрения»), — но тоже только угадываем. Очень плотное, «контекстное» письмо Вацуру, постоянно устанавливающего «странные сближения» меж, казалось бы, весьма друг от друга отдаленными культурными и литературными феноменами, парадоксальным образом то и дело обнаруживает смысловые пробелы. То, что нам кажется лакунами, возможно, представлялось исследователю само собой разумеющимся, не требующим разжевывания. А возможно, напротив, оставалось для него неразрешимой проблемой. Простоты, что хуже воровства, Вацуру не любил. И об ограниченности исследовательских возможностей, о неизбежности в иных случаях временно руководствоваться недоказуемой строго гипотезой, он напоминал не раз. Как бы то ни было (а было, думается, по-разному), сегодняшний читатель Вацуру (в первую очередь это относится к его коллегам) в какой-то мере обречен заниматься реконструкцией общего замысла ученого. Конечно, эта проблема встает и при обращении к наследию других крупных гуманистариетов, но в случае Вацуру приобретает особенную остроту, неотделимую от вполне отчетливой печали: увидеть то, что видел В. Э., нам не удастся никогда.

И здесь естественно возникает третий — наиболее наглядный и наиболее горький — сюжет. Это, разумеется, Лермонтов, которым Вацуру занимался всю жизнь, которого он знал и понимал, как никто другой. Здесь могут возразить, указав на то, что из-под пера Вацуру вышли не только работы, трактующие «частные» и «специальные» сюжеты (от «Лермонтова и Марлинского», 1964, до «Литературной школы Лермонтова», 1986), но и безусловно интегрирующий все наработки очерк о поэте в седьмом томе «Истории всемирной литературы» (1989), что он буквально «выдышал» «Лермонтовскую энциклопедию» (на официальном языке это называлось «заместитель главного редактора»), что Лермонтов — вообще писатель «простой» (творчество компактно, а биография, по слову Блока, «нищенская»), и уж о нем-то Вацуру суммой своих публикаций сказал все, что не успели открыть прежде. Частично принимая эти резонные соображения, приходится констатировать: мозаика сама собой не складывается, втиснуть в раздел коллективного труда монографию было не под силу даже такому изоциренному литератору, как В. Э., очень многие статьи «Лермонтовской энциклопедии» (при непреходящем значении этого замечательного издания) писаны совсем не в духе Вацуру (некоторые же из них сущностно противостоят его научным, эстетическим и человеческим идеалам), а наследие Лермонтова и после работ Вацуру (точнее — вследствие существования этих работ) требует обобщающего концептуального труда. Такую книгу мог написать только Вацуру. (Понятно, что это не принижение авторов классичес-

ких исследований, от П. А. Висковатова до Д. Е. Максимова. И тем более не шлагбаум на пути будущих лермонтоведов.) Не написал. Некоторых собеседников добродушно дразнил, рассказывая о якобы имеющемся сочинении под условным названием «Почему я никогда не напишу книгу о Лермонтове».

Так почему же? Почему ни «готика» (ныне собранная из фрагментов), ни «лирика пушкинской поры» (не завершена), ни лермонтовiana (сведение *всех* лермонтоведческих штудий В. Э. под одной обложкой и с надлежащей рефлексией представляется серьезной и насущной задачей), ни статья о Пушкине, которую В. Э. обещал редакции словаря «Русские писатели», не стали «осязаемыми» фактами? Ответов, как водится, много, и ни один из них невозможно счесть окончательным.

Первый ясен: Вацуро работал в советской системе, что ставила идеологические препоны на пути любого гуманитария (так, в крепком подозрении для официальных инстанций долгое время находился любимый В. Э. готический роман), рассматривала ученого (коли числится он в академической структуре и получает жалованье) как чиновника, обязанного выполнять поставленные перед ним задачи и не слишком выделяться из коллектива иных чиновников. Прибавим сюда высокое чувство долга («плановость» работы не могла сказываться на ее качестве), необходимость заработка (не столь завидны были оклады сотрудников Пушкинского Дома, а за предисловия и журнальные статьи платили прилично), человеческую отзывчивость (если просит хороший знакомый и о вообще-то полезном деле, то отказывать неудобно; даже если знакомый не так уж хорош, а работа, сданная в срок, не устроит какую-нибудь инстанцию: так легло в стол предисловие к «Трем повестям» В. А. Соллогуба — в 1978 году в «Советской России» решили, что лучше издать книгу вовсе без вступительной статьи, чем с «сомнительным» текстом В. Э.). Не забудем и об уже упоминавшемся желании использовать любой случай (любую площадку) для обнародования своих наблюдений и счастливую (или несчастную?) способность живо интересоваться буквально каждым сюжетом, находить в нем «свое», встраивать его в грандиозный общий чертеж истории словесности... Ясно, что до «главного» руки доходили не всегда.

Но не обойтись без оговорок. «Умственные плотины» автор соименной книги, когда хотел, преодолевать умел — издание книги о николаевской цензуре (без старательно отцензурированного слова на титуле) тому порукой. (Актуальный гражданский смысл предельно историчной работы Вацуро и Гиллельсона был внятн в пору ее публикации и не раз обсуждался в печати: по нужде прикровенно — первыми рецензентами, прямо — в новейшие времена, благодарными филологами младшего поколения, чье становление прошло во многом «под знаком Вацуро».) С годами личный авторитет В. Э. как в академической среде, так и у издателей решительно вырос, и вырази он категорически желание вставить в научный план монографию, издать в «Художественной литературе» или «Советском писателе» книгу о Лермонтове, ему бы, вероятно, не отказали. (Вышла же «Лирика пуш-

кинской поры» с академическим грифом.) Конечно, тут не обойтись без «личных» мотивов, без разговора об особенностях характера В. Э., уже начатого первыми мемуаристами, о его интеллигентности и толерантности. Но прежде надобно сказать о другом.

Уже цитированная редакционная преамбула к сборнику в честь шестидесятилетия Вацуро открывается положением, на мой взгляд, куда более спорным, чем следующая за ним аттестация юбиляра. «Когда придется перечислять все, чем мы могли гордиться в миновавшую эпоху, список этот едва ли окажется длинным. Но одно можно сказать уверенно: у нас была великая филология». Но «великая филология» — это не совокупность замечательно талантливых исследователей (их в 70–80-е годы и впрямь было не мало), помноженная на ажиотаж изголодавшейся по любой «исторической», «философской», «религиозной» фактуре публики, с равным смаком и результатом потребляющей статьи Лотмана и романы Пикуля, историко-софскую публицистику Л. Н. Гумилева и эссе Аверинцева, труды академика Лихачева и насквозь «литературно-идеологические» картины Глазунова. «Великая филология» предполагает смысловое поле, в котором могут сосуществовать (и бороться) разные научные традиции, но отсутствуют четкая шкала ценностей, возможность взаимопонимания разномыслящих исследователей, преемственность поколений, осмысленное разделение труда, различие «науки» и «эссеистики» (что не отменяет возможности для конкретного гуманитария выступать в двух ипостасях — но по своей воле, а не «силою вещей»!) и, наконец, уж извините, отсутствие постоянного — прямого и косвенного — идеологического диктата. (Простенький, но характерный пример: текстологически образцовый, содержащий обширный раздел редакций и вариантов том Дениса Давыдова в «Библиотеке поэта» вышел под названием «Стихотворения». В преамбуле к примечаниям Вацуро констатировал: «Настоящее издание стихотворений Д. не является полным: в него не вошли эпиграмма № 59 по Изд. 1933 <...> и памфлет “Голодный пес”». Ну да, в 1984 году нельзя было затрагивать «болезненную» польскую тему — даже решительному имперцу и полонофобу Денису Давыдову.) Какая уж тут «великая филология», когда чуть не каждое слово пробивается на свет с трудом и еще неизвестно кем и как будет расслышано.

Научная деятельность наших лучших гуманитариев оказывалась в то же время и борьбой за нормализацию культурного пространства, и Вацуро тут не был исключением. Но всякая идеологическая борьба (вовсе не входящая в прямые задачи историка культуры) не только отнимает силы и нервы, но и сказывается на творчестве. В конце 1920-х годов формалисты задавались вопросом «как теперь быть писателем» (а в подтексте слышалось: «и филологом»). В последние годы вопрос этот обсуждается с не меньшим энтузиазмом (и, похоже, грозит не меньшими издержками). Но не стоит думать, что, загнанный вглубь (в кухонные разговоры или подсознание), он не существовал в «вегетарианский» период советской истории.

Реакцией на всегдашний советский заказ на «монументальность» стала культивация «малых жанров» (комментария и разросшейся сноски). Ре-

акцией на томительное словоблудие и априорность официоза — абсолютизация «точных методов» и изобретение «птичьего языка». Реакцией на невозможность публичного обсуждения целого ряда ключевых гуманитарных проблем — безответственное писание в стол (вредящее ученому не меньше, чем поэту) либо проговаривание их в сознательно эзотеричной манере, способной незаметно нивелировать и сильную мысль. Реакцией на бессмысленный социологизм, примитивный атеизм, неприменный культ революционеров (истинных или назначенных таковыми), стали истовые поиски духовности, народных начал и подчас пародийная религиозность. А реакцией на эту постепенно набиравшую силу моду — отказ от конкретного и вдумчивого обсуждения религиозно-философских вопросов, весьма значимых для писателей минувших веков. Фантазмов и химер (причем совсем не обязательно созвучных официальной идеологии или корыстных) 70-е годы породили не меньше, чем ярких свершений.

Размышляя о советской литературе, М. О. Чудакова однажды верно заметила: великий писатель всегда выстоит и сохранит себя (покуда/если его не убьют). То же касается и настоящих филологов. Но выморочное состояние литературной среды, о котором вела речь Чудакова, пагубно сказывается не только на общем движении словесности (филологии, культуры), но и в той или иной мере воздействует даже на самых талантливых людей. Разобщенность гуманитарного сообщества, двусмысленные отношения с потенциальным читателем, абсолютизация той школы, в которой прошло научное и личностное становление ученого (для В. Э. такой школой, безусловно, был Пушкинский Дом, преданность лучшим академическим традициям которого не только ощущается в любой работе Вацуру, но и настойчиво им педалируется), оторванность (конечно, неполная, конечно, целенаправленно преодолеваемая) от широкого контекста гуманитарной мысли XX века, а иногда и от исследований, непосредственно входящих в круг специальных интересов — одним словом, то, что Блок некогда назвал «отсутствием воздуха», даром не прошло ни для кого из лучших «подсоветских» гуманитариев. Их интеллектуальное и гражданское служение, их роль в выведении современников из морока скудомыслия и формировании новых поколений исследователей, их (вспомним любимые Вацуру и не им одним слова Пушкина о творце «Истории государства Российского») «подвиг честного человека» сейчас вызывает не только благодарность, но и подлинное изумление. Но это были живые люди, а не сказочные рыцари — и потому каждому выпали свои потери. Вацуру не дописал те капитальные труды, к которым был предназначен.

Или все-таки не был? Почему давление времени в его случае обусловило именно такой тип утраты и вариант судьбы? Сопоставляя «литературную личность» В. Э. с «литературными личностями» его выдающихся коллег-современников, обнаруживаешь черту, отличающую Вацуру от едва ли не всех интеллектуальных лидеров отечественной гуманитарии конца прошлого века — отсутствие выраженной харизмы. Читая труды Л. Я. Гинзбург или Д. С. Лихачева, Ю. М. Лотмана или Н. Я. Эйдельмана, С. С. Аверин-

цева или М. Л. Гаспарова, В. Н. Топорова или Вяч. Вс. Иванова (список можно продолжить), получаешь некое представление об их «статии» — темпераменте, духовных ориентирах, симпатиях и антипатиях. Не случайно их тяготение к публичности, как не случайны их постоянные выходы за пределы филологии — в философию, публицистику, мемуары, прозу и поэзию. Ничего подобного у Вацуро нет: его статья о М. С. Горбачеве кажется именно что случайной (это никак не значит: не интересной). В книгах и статьях Вацуро почти не ощутим его дар острослова, изысканного и склонного обыгрывать свою «куртуазность» собеседника, мастера искрометных экспромтов, хотя наделен им был В. Э. сполна и в ход его пускал постоянно. (Свидетельством тому прелестная «Вацуриана», составленная Т. Ф. Селезневой и изданная «домашним» тиражом, а также воспоминания друзей, коллег и учеников В. Э. Думаю, что вспомнить такого Вацуро может едва ли не каждый, кто с ним когда-либо разговаривал. Тут могу сослаться на свой опыт совсем не часто и никак не интимно доверительного общения с В. Э.: казалось, он просто не мог не шутить.)

Установка на устранение авторского «я» неотделима от скрупулезности в работе с любым материалом, от недоверия к слишком устойчивым репутациям (всякий литературный факт и всякая человеческая судьба сложнее, чем нам кажется) и к слишком резким научным новациям (сложнее-то сложнее, но гонясь за привидевшейся истиной легко утратить то, что было с трудом установлено; замечательный пример такой чуть ироничной осмотрительности — статья «Еще раз об академическом издании Пушкина», 1999), от такта, с которым В. Э. касается «экзистенциальной» проблематики, всегда мерцающей сквозь призму исторических разысканий, наблюдений над стилем, выявлением конституирующих признаков жанра или школы, открытием источников и реминисценций.

Сколь важны для Вацуро были «последние вопросы», можно судить по двум небольшим фрагментам из совершенно разных работ. Одна посвящена поэтике, другая — истории словесности, в интересующем нас эпизоде особенно тесно сплетенной с просто историей. Анализируя «Метель» (статья «Повести покойного Ивана Петровича Белкина»), Вацуро пишет: «В полном соответствии с традиционным сюжетом в конце рассказа падают препятствия к соединению влюбленных, которые оказываются мужем и женой; однако вряд ли найдется счастливый конец (типичное и до какой-то степени верное представление о развязке “Метели”. — А. Н.), который в такой мере был бы окрашен тревожными интонациями». И далее, процитировав общеизвестную сцену опознания Бурмина: «Эта внезапная бледность героя, жест смятения и раскаяния, прерывистая, оборванная авторская ремарка, — что это, как не знак возникающей спонтанно новой, неожиданной психологической коллизии? Автор психологических элегий и “опытов драматических изучений”, Пушкин уже давно пришел к выводу, что самая счастливая любовь таит в себе возможности диссонансов и взаимных непониманий». Это о литературе.

А вот — о поэте. «В ночь с 12 на 13 июля 1826 года Дельвиг вышел из дома. Было облачно и дождливо, и многочасовая прогулка могла стоить ему дорого. В феврале его неделю била лихорадка, и всерьез опасались воспаления. Откуда он узнал, что на рассвете 13-го совершится казнь и увезут в Сибирь осужденных на каторгу — в их числе Ивана Пущина? Этого не знал в Петербурге почти никто. Путята пытался узнать о времени экзекуции у Николая Муханова, адъютанта петербургского генерал-губернатора, но и тот ничего не знал положительно» («Северные цветы», глава «Безвременье»). И далее: о тех, кто все-таки пришел, о трудностях перемещения по городу с разведенными либо перекрытыми стражей мостами, о неожиданных встречах с молчаливыми знакомцами, об ожидании, о возведении виселицы, чтении приговора, сжигании мундиров, об осужденных, переодетых в арестантское платье, что «шли бодро и взорами искали знакомых в толпе». «Видел ли Дельвига Иван Пущин, успел ли Дельвиг попрощаться взглядом с лицейским товарищем?» И потом, запечатлев тремя строками увиденную Дельвигом казнь пятерых, что растянулась на два акта: «И, может быть, он слышал ропот — толпы ли, казнимых или казнящих? — ропот ужаса, сострадания или негодования. Он не рассказывал об этом, и вообще в его семье избегали говорить о происшествиях 14 декабря».

Эмоциональная вовлеченность автора в давно минувшие события (за которыми видятся иные мятежи, иные казни) сопоставима лишь с предельной точностью сообщаемых фактов и суггестивной энергией прозы, где умолчания действеннее любых описаний. Такого рода «романных» вкраплений в книгах, статьях и кратких биографических справках работы Вацура совсем не мало. Он умел извлекать психологию (неповторимую личность) и сюжет (непредсказуемую историю) из почти любого материала. Но романов, как известно, не писал. Может быть, считая их жанром легкомысленным. А может быть, напротив, слишком трудным, требующим еще большего знания о человеке и истории. Может быть, полагая, что подлинный читатель распознает гипотетическое целое по намеку и оценит идеальное чувство меры. (Тут невольно вспоминаются незавершенные, но всегда таинственно сопряженные друг с другом замыслы Пушкина). А может быть, не видя того, кто мог бы оценить по достоинству грезящееся смысловое целое.

Кажется, что-то подобное (ускользающее от однозначных формулировок, «воздушное», но властное) заставляло В. Э. откладывать давно лелеемые большие начинания и переключаться на новые сюжеты (всегда, впрочем, как-то да завязанные на старые), на выполнение очередного — издательского или пушкинодомского — заказа, на редактирование и внутреннее рецензирование чужих работ (порой сводящееся к их переписыванию). Конечно, были тут и иные причины (частью обсужденные выше), но была и личная тайна Вацура. Его шутка о том, что книгу о готическом романе можно писать и после смерти («Призрак... в 12 часов... с ударами колокола является в библиотеке... и читает тени книг»), была шуткой. Но не только. И не только о «готической монографии». То совершенное знание, к кото-

рому осторожно и последовательно приближался поразительно многосторонний и удивительно тонко мыслящий исследователь, вероятно, здесь недостижимо. Даже для Вацуро.

Мы никогда не прочтем ни полной версии «Готического романа в России», ни второй части «Лирики пушкинской поры», ни книги о Лермонтове. Но представить себе их чуть более конкретно мы можем и должны. Это и есть продолжение научной и культурной традиции. Ее обрывая Вацуро опасался и упорно этому противодействовал. Поэтому так ценил работы предшественников и старших коллег, поэтому систематично и тактично пестовал младших. Он знал, что хотя наука и творится общим тщанием, всякий настоящий ученый неповторим и незаменим, что из наследия каждого мастера можно извлечь то, чего у иных не сыщешь. Надо только уметь читать филолога — так же, как поэта, прозаика, философа, мемуариста, критика... Вывод понятен: прозрачные книги и статьи В. Э. требуют особого внимания; их читателю надлежит следить не только за тем, что происходит с «героями» (будь то писатели, идеи, слова или жанры), но и за скрытым автором, за движением его свободной и строгой мысли, за тем, что уходит в подтекст повествования. Язык (или, если угодно, метод) Вацуро нуждается в изучении (думается, не вполне и не для всех понятным он был и при жизни ученого) — на этом пути пока сделаны лишь первые шаги. Хочется верить, что одним из них станет эта книга.

А. С. Немзер

В. Э. ВАЦУРО

ИЗБРАННЫЕ
ТРУДЫ



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МОСКВА 2004